

Денис Пожидаев

ПОКА ТЫ ВНУТРИ

СВИДЕТЕЛИ ПОРОГА

18+

Денис Пожидаев

Пока ты внутри

<https://litres.ru/74618804>

SelfPub; 2026

Аннотация

Избушка всегда знала, где заканчивается её внутреннее и начинается внешний мир. Но однажды знакомая граница перестаёт совпадать сама с собой: появляются места, которых она не создавала, а прошлое занимает пространство, которое давно должно было освободиться. Чтобы сохранить Порог, придётся понять, что действительно нужно удерживать, а чему пора дать выход. Финальная повесть цикла о доме, памяти, незавершённости и возможности будущего, для которого прежде не существовало двери.

Содержание

Часть первая. Комната, которой я не строила	4
Глава первая. Первая комната	4
Глава вторая. Не моя	13
Глава третья. Сорок семь	20
Глава четвёртая. Детская	27
Конец ознакомительного фрагмента.	34

Денис Пожидаев

Пока ты внутри

Часть первая. Комната, которой я не строила

Глава первая. Первая комната

Первую комнату я не строила.

Я это говорю сразу, потому что с этого всё и началось, хоть поняла я это в самом конце. Позже я научилась делать комнаты сама — знаю, как отвести стену, где положить порог, куда вывести дверь, чтобы из неё был ход, а не тупик. Но первую не строил никто. Она просто появилась однажды к утру, когда двух человек нельзя было держать в одном месте, а места было достаточно. Я тогда ещё не была той, кем могла бы что-нибудь построить. Я была домом. Дом не строит комнат. Он их имеет.

Но это после. А сначала было обычное утро, и я расскажу его так, как знаю утро, — не глазами, глаз у меня нет, а тем, чем я знаю всё: где кто находится по отношению к моей границе.

Снаружи, под крыльцом, лежал Пёс. Он там всегда — не внутри, а под, у самого края, где моё кончается и начинается двор. Выше, на кровле, сидел Ворон; он не внутри и не совсем снаружи, он над, и я знаю его по тому, как оседает под ним конёк. Внутри было трое. Яга переходила из горницы в сени и обратно, не закрывая за собой дверей, — она никогда их не закрывает, ей нужно, чтобы всё было проходимо. Жаба спала у печи, где теплее всего; я знаю, где теплее, это моё, я сама держу тепло у печи гуще, чем у окон. Кот лежал на подоконнике кухни, там, где холодное стекло сходится с тёплым воздухом, — он любит эту черту, границу между внутренним и наружным, и я его понимаю, потому что сама вся из таких черт.

Я знала их не по виду. Вид мне почти не нужен — я и не вижу, как видите вы, у меня нет глаз, чтобы смотреть, и нет одного места, откуда я смотрю. Я знаю иначе. Знаю по тому, как ложится вес: Пёс лежит тяжело и ровно, привалившись боком к нижнему венцу, и я чувствую его вес не как груз, а как то, что моя граница в этом месте занята своим. Знаю по звуку: у меня звук не приходит откуда-то, у меня он происходит — Яга ступила в сенях, и её шаг прошёл через половицу, через порог, через стену, и дошёл до кухни, где на подоконнике лежал Кот, и Кот повёл ухом, и я знала оба конца этого звука разом, потому что оба были во мне. Знаю по теплу: у печи гуще, у окон реже, и там, где спала Жаба, тепло было плотнее — она любит, где плотнее. Вот из чего

для меня утро: из веса, из звука, из тепла, из того, кто по какую сторону моих стен.

Все были на своих местах. Утро было устроено правильно. Тогда мне ещё казалось, что этого достаточно — знать, где каждый, — чтобы утро было правильным.

Я стала считать себя. Я делаю это каждое утро, как человек оглядывает своё тело спросонок: цела ли рука, на месте ли нога. Только у меня не руки и ноги, у меня комнаты, проёмы, лестницы, ходы между ними. Я прохожу по себе изнутри и проверяю, всё ли ведёт туда, куда вело вчера. Обычно ведёт. Комнат было привычное число, я не стану его называть, чтобы не привыкать к нему; потом станет ясно, почему это важно.

И один ход оказался длиннее, чем должен.

От кухни до кладовой у меня всегда было две внутренние границы. Кухня, потом стена с проёмом, потом малые сени, потом стена с проёмом, потом кладовая. Две границы, два перехода, я знаю их, как человек знает, что от кровати до двери три шага. А в то утро от кухни до кладовой стало три границы. Не длиннее коридор — я не про длину, длина у людей. Стало на один переход больше. Между кухней и кладовой появилось лишнее «между».

Я прошла этот ход ещё раз. Три. Прошла обратно. Три. Я не ошибаюсь в себе — ошибиться в себе для меня то же, что для человека забыть, сколько у него пальцев. Три границы там, где две.

Между ними, в новом «между», была комната.

Я открыла к ней доступ — это моё, я решаю, куда ведут мои проёмы, — и вошла в неё тем, чем вхожу всюду, своим знанием положения. Комната была пустая. Обыкновенного размера, не больше малой горницы, стены как стены, пол как пол. Я стала слушать, что в ней.

И вот тут первый раз стало не так.

В пустой комнате обыкновенного размера было место для шестерых. Не мебель — мебели не было, я бы знала мебель, мебель давит на пол, у неё вес. Не память о том, что тут когда-то спали, — память о сне я тоже знаю, она лежит в половицах, как вытертость. Это было другое. В комнате, где помещаются от силы двое, было шесть отдельных мест для сна — шесть раздельных «здесь спит человек», каждое со своей границей, со своим «это его угол», и все шесть держались разом в пространстве, которого на шестерых не хватило бы. Комната была мала для того, что в ней помещалось. И то, что в ней помещалось, было не вещами и не следами. Это были места. Занятые места для людей, которых не было.

Я стала считать эти места, как считала себя, и они не давались счёту. Шесть — и они не стояли ровно шестью, как стоят шесть отдельных углов; они наслаивались, заходили один на другой, будто их разложили не рядом, а вложенными, и я, проходя от первого к шестому, дважды приходила в одно и то же и один раз миновала то, чего не считала. Так не бывает у меня. У меня место либо есть, либо нет; занято либо сво-

бодно; своё либо чужое. А тут было — занято тем, чего нет, местом без того, кто в нём, и таких «нет» было шесть, и они не хотели становиться в ряд.

Тут надо сказать, как вообще во мне держится счёт, иначе не понять, отчего эти шесть меня так испугали. Я не считаю числами, я не умею числа, числа — людское. Я держу свои части не счётом, а тем, что каждая на своём месте и каждая одна. Кухня одна. Печь одна. Восточный угол один. Когда я прохожу по себе, я не складываю, я узнаю: это оно, и оно тут, и оно одно. Как человек, не считая, знает, что рука у него одна слева и одна справа, а не тремя пальцами больше. И вот в этой комнате узнавание сломалось. Место было — а «одно» у него не выходило. Я подходила к первому и узнавала первое, шла ко второму — и приходила снова к первому, а между ними успевала пройти третье, которого только что не было. Место двоилось и троилось не в числе — в самом узнавании. Будто я потрогала свою руку и не смогла сказать, одна она или их там несколько, наложенных одна на другую. Такого со мной не бывало за весь мой век, и оттого это было страшнее всякого чужого звука: страшно не то, что во мне лишнее, а то, что лишнее не считается, не становится в ряд, не даётся тому единственному, чем я всегда знала себя, — узнаванию «это оно, и оно одно».

Я не поняла. Я привыкла понимать себя сразу, а тут не поняла, и это само по себе было ново и нехорошо.

Яга почувствовала. Она чувствует меня лучше всех, не

мысли мои — мыслей моих не слышит никто, — а то, что я сделала что-то со своим пространством не по её просьбе. Она остановилась в сениях, там, где я изменила ход, и посто-
яла, определяя, где новая граница. Потом сказала — не мне приказом, она давно не приказывает, а так, как спрашивают у того, кого уважают:

— Покажешь?

Я открыла путь.

Вошли трое. Кот первым — он всегда первым туда, где надо разобрать, чьё что. За ним Жаба, тяжело, от печи ей идти не хочется, но пошла. Ворон снялся с кровли и оказался внутри, у притолоки, — он не любит забираться глубоко, ему довольно порога. Пёс остался у входа, снаружи, у самого края нового «между». Он не переступил. Я отметила это, но тогда ещё не придавала значения: Пёс часто не переступает, это его место — у края.

Никто не сказал сразу ничего. Это тоже было ново. Обычно они входят и один из них называет: «здесь то-то». А тут вошли и стали слушать каждый своё, и молчали, потому что каждому его область не давала ответа.

Кот прошёл по комнате не так, как хожу я, — я по границам, он по принадлежности, ищет, где чьё, где своё, где чужое, где вещь, а где место. Долго искал. И сказал наконец — не мне, себе, тихо:

— Комната есть. А чья — не поймёшь. Она не выглядит ничьей собственностью. И моей она тебе не станет только

оттого, что она в тебе.

Я тогда не поняла и этих слов. Это уже потом они стали для меня всем. А в то утро я услышала только, что Кот, который всегда знает чьё, не знает чьё.

Жаба приложилась к полу, к воздуху, к тем шести местам. Она слушает живое — жива ли ткань, тянет ли кровь, держится ли тепло тела. Отняла. Сказала:

— Живого тут нет. Ни одного тела. И не было — я бы услышала след тела, а его нет. Тут не спали. Тут только место для сна.

— Место без тех, кто спит, — сказал Ворон. Он говорит мало и точно. — И без тех, кто спал. Я смотрю, кончилось ли что здесь. Ничего тут не кончилось. Потому что ничего и не начиналось.

Я слушала их, стоящих в этой комнате, и думала — если это можно назвать думаньем, у меня оно не словами, — до чего мы разные и до чего каждому видно только своё. Кот стоял и слышал принадлежность, и для него комната была вопросом «чьё». Жаба стояла рядом и слышала живое, и для неё та же комната была вопросом «живо ли». Ворон над ними слышал время, и для него — «кончилось ли». Три существа в одном месте, и три разных места для них, потому что каждый слышит своим. А я слышала четвёртое, чего не слышал никто из них: где проходит граница этого места и как оно сидит во мне. И оттого только я одна и чувствовала, что не так, — потому что не так было именно в том, что моё:

в границе, в положении, в том, что комната есть там, где её быть не должно. Их области молчали. Моя кричала. Впервые за долгий век беда пришла по моей части, а не по чужой, и звать на помощь было почти некого: те, кто помогал мне всегда, тут стояли и разводили руками, каждый по-своему.

Они вышли, один за другим, и каждый унёс своё непонимание, потому что понимания ни у кого не было. Пёс так и не вошёл; когда все выходили, он поднялся, обнюхал новую границу у самого края и лёг обратно под крыльцо, снаружи. Я тогда подумала мельком: вот, и Пёс не хочет сюда, — и не придала значения. А стоило бы. Пёс не переступает туда, где нет отдельного «кого». Он не вошёл не из лени и не по привычке. Он не вошёл, потому что в комнате не было того, кого он узнаёт, — были места, а не люди. Он почуял это раньше нас всех и сделал единственное, что мог: остался у края, где ему было ясно, а не пошёл туда, где ясности не было ни для кого.

А я осталась с комнатой, которой не строила, в которой не спали и не спит никто, и в которой всё-таки было занято шесть мест.

Я ещё не знала того, что знаю теперь, когда рассказываю это. Что шесть мест — это не память о мебели и не тень чужого сна. Что это шесть живых, длящихся, не желающих кончаться мест для шести человек. Что где-то сейчас, наяву, эти шестеро живут, дышат, спят в своих постелях, — а места их, вместо того чтобы быть при них, оказались во мне, в ком-

нате, которую я не строила, между кухней и кладовой, куда вчера был всего один ход, а стало два.

Я знала одно: у меня появилось внутреннее, которого я не делала.

И это было только начало. Потому что на завтра его стало больше.

Глава вторая. Не моя

Кот вернулся к комнате один, ещё до света, когда Яга спала, а Жаба ушла на чьё-то тело за реку. Он это любит — разбираться в тишине, без чужого при себе. Я открыла ему ход, и он стал делать то, что умеет: отделять.

Я расскажу, как он это делал, потому что от него я в ту ночь узнала о себе больше, чем за долгое время до. Он трогал не пол и не стены — он трогал принадлежность, ту нить, которой вещь держится за своё. Взял мою стену — ту, что я поставила между кухней и сенями сто лет назад. «Твоя», — сказал он. Взял дверь, которую я вывела в эту комнату вчера. «Твоя, ты её сделала». Взял саму комнату — стены, пол, потолок. И тут задержался.

— Комната стоит в тебе, — сказал он. — А удерживаемое в ней — не твоё.

Я не поняла разницы. Для меня всё, что внутри моей границы, было до сих пор одним словом — моё. Я не делила. Пол мой, стена моя, тепло у печи моё, и тот, кто спит у восточной стены три ночи, тоже как бы мой, пока он внутри. Я никогда не спрашивала себя, чем моя стена отличается от человека, который к ней прислонился. И то и другое было внутри. А внутри значило моё.

Кот делил. У него в голове это разложено по полкам, я потом поняла: одно — то, что есть я сама; другое — то, что я

держу; третье — то, что просто ко мне прислонилось и вовсе не про меня. Комната, сказал он, из второго. Я её держу. Но она не из первого. Она не я.

Мне это было как человеку услышать, что рука его — не совсем он. Я весь свой век не делила внутреннее. Всё, что за моей наружной стеной, было мной, и точка. Тот, кто спал у восточной стены, был во мне — значит, был мой, куда спал. Тепло у печи было моё. Вещь, забытая в углу, была моя, пока лежала. Я не различала, что стена — это я, а спящий — не я, потому что оба были внутри, а внутри было одно слово. И вот Кот принёс мне второе слово, и третье, и я стояла над ними, как стоят над незнакомой речью, узнавая в ней смутно что-то своё и не умея повторить. Держать — не то же, что быть. Быть во мне — не то же, что быть мной. Я это слышала впервые и не знала ещё, что это и есть всё, чему мне предстоит выучиться.

Я расскажу про Ягу, раз уж она вошла, потому что она мне всех ближе и всех дольше. Не эта, нынешняя, — вообще Яга, та, что меняется, а место её при мне остаётся. Я знала многих. Первую — почти не как «я», а как тепло руки, которая клала и не давала выносить. Потом других, одну за другой, и все они были разные люди, а место их во мне было одно: та, для кого всегда есть где быть внутри. Они старели и умирали, а я оставалась, и оттого я лучше всех знаю то, чего люди про Ягу не знают: что Яга — это не женщина, это место при мне, которое женщины занимают по очереди.

Нынешняя заняла его недавно — я помню, как вошла Дарья под чужим именем, как жила годами не своей жизнью, как стала той, кто держит. Я помню её приход лучше, чем она сама, — потому что для меня приход человека это не лицо и не имя, а то, как он впервые занял место, и это я храню точнее всякой памяти.

Она просыпается, когда я меняю в себе что-то крупное, будто я ворочаюсь и бужу её. Встала в проёме.

— Ну? — спросила она Кота.

— Ты её держишь, — сказал Кот. Мне, не ей; он давно говорит со мной, зная, что я слышу, хоть и не отвечаю словами.

— А чья она? — спросила Яга.

— Пока не знаю, — сказал Кот.

И это «пока не знаю» он сказал не так, как говорят, стыдясь незнания. Он сказал его как ответ. Я потом узнала, что он к этому «не знаю» шёл целую свою историю и что для него теперь «пока не знаю» — не пустое место, а честная метка: тут ответа ещё нет, и врать, что он есть, я не стану. Тогда я слышала только, что даже он не знает, чья это комната. А если не знает он, тот, чьё дело — знать чьё, значит, дело плохо.

Я решила её убрать.

Это надо объяснить, потому что я не думаю словами, как думаете вы. Я не сказала себе: «уберу комнату». Я делаю иначе. Я пробую пространство — открыть, закрыть, отвести, свести, — и по тому, что вышло, узнаю, что можно. Убрать

ненужное внутреннее для меня привычно, как для человека выдохнуть. Комната сделала своё — исчезает. Так было всегда. Так я думала, что было всегда.

Я свела границы. Отвела ту третью стену обратно, к кухне, чтобы «между» снова стало одно, чтобы от кухни до кладовой опять было два перехода, а не три. На один вздох комната почти исчезла — я почувствовала, как она истончается, как её «между» сходит на нет.

А потом она вернулась.

Не так, как возвращается отведённая рукой ветка, — с силой, с сопротивлением. Хуже. Она вернулась спокойно, как возвращается вода в отведённое русло, когда убираешь ладонь. Я свела границы — а они разошлись обратно, потому что между ними по-прежнему было чему быть. И не только вернулась: пока я сводила, рядом, за той же стеной, проступило второе. Ещё одно занятое место, поменьше первого, — не шесть постелей, а одна, но своя, отдельная, детская по размеру, я это чую, детское место занимает пространство иначе, бережнее.

Я попробовала ещё раз. Комната закрепилась сильнее прежнего. Я поняла, что делаю хуже: каждый раз, как я пытаюсь свести это внутреннее, оно врастает в меня плотнее, будто я не выталкиваю его, а вжимаю.

Так я и решаю всё — не словами, а пробой. Человек, прежде чем сделать, думает; я, прежде чем понять, пробую. Открыть — и послушать, что вышло. Свести — и послушать.

Отвести стену — и узнать по тому, поддалась она или нет, можно так или нельзя. Это мой способ думать: не «что это значит», а «что выйдет, если я так сделаю». И в тот раз проба сказала мне ясно, хоть и без слов: эту комнату свести нельзя, а всякая попытка свести делает её только больше моей. Я толкала — а притягивала. Впервые моя проба вернула мне ответ, которого я не хотела: не можешь убрать, можешь только присвоить крепче.

Кот следил за мной — он видит, когда я двигаю принадлежность.

— Не своди, — сказал он. — Ты не убираешь. Ты присваиваешь.

Я остановилась. И тогда, замерев, впервые расслышала, что за стеной этой комнаты.

Не квартира. Я не видела квартиры, у меня нет глаз, и стена не стала окном. Но за моей стеной было чужое внутреннее, и оно давало о себе знать так, как даёт о себе знать соседнее пространство: у него был потолок другой высоты, чем у меня; дверь в нём вела в другую сторону, не туда, куда мои; его внутренняя граница шла поперёк моей, будто два дома сложили не по стенам, а внахлёст. А через эту чужую границу прошёл звук — короткий, бытовой, из той жизни, а не из моей: то ли щёлкнул остывающий чайник, то ли пискнула детская игрушка, из тех, что пищат, когда на них наступишь. Звук прошёл через чужой потолок и через мою стену и дошёл до меня, как доходит до меня всё, что случается внутри,

— потому что для меня звук не приходит, звук происходит. Только этот произошёл не во мне. Он произошёл в чужом, которое оказалось за моей стеной.

— Слышишь? — сказал Кот. Он тоже расслышал, по-своему.

Я слышала.

— Это не память, — сказал он. — Память молчит. Это где-то есть сейчас. Прямо сейчас, наяву, кто-то живёт за этой твоей стеной — только эта стена не твоя стена того дома, а твоя. Ты держишь кусок чьего-то нынешнего внутри себя.

Вот тогда я испугалась в первый раз. Я не скажу «испугалась» так, как сказали бы вы, — у меня страх другой. Я трижды прошла свою наружную стену, ту, что отделяет всё моё от двора, от леса, от ночи. Прошла, чтобы убедиться, что она на месте, что за ней — снаружи, а не внутри. Первый раз — снаружи. Второй раз — снаружи. Третий раз я дошла до места за той новой комнатой и не смогла сказать, что за ним. По одну сторону было моё внутреннее. По другую должно было быть снаружи. А было — тоже внутреннее. Чужое. И я не знала, где между ними проходит граница и проходит ли она вообще.

Кот перед тем, как уйти, постоял у той стены дольше нужного. Я думала, он слушает чужой звук. А он слушал меня — как я стою над своей же границей и не узнаю её.

— Ты сейчас как я когда-то, — сказал он. И это было странно от него, он редко про себя. — Я тоже долго думал,

что чем крепче держу, тем вернее моё. Держал, тянул к себе, не отпускал. А выходило наоборот: чем сильнее тянешь, тем меньше твоё, потому что своё не держат силой, своё просто есть. Ты сводишь эту комнату и делаешь её твёрже. Брось сводить. Не всё, что в тебе, надо сделать твоим. Есть такое, что честнее поддержать чужим.

Я не поняла тогда, к чему он это. Я слышала одно: не своди — и перестала сводить. А что за этим стоит целая наука — держать, не присваивая, — я узнала много позже и дорогой ценой. Тогда мне казалось, довольно перестать толкать, и всё уляжется. Не улеглось. Потому что дело было не в одной комнате, а во мне: я разучилась отличать то, что я есть, от того, что я держу, и это незнание уже росло во мне, комната за комнатой, а я всё принимала его за прибыль.

Комната была во мне. Моей она не была. И за ней, вместо моего снаружи, начиналось чужое внутри.

Я всю жизнь знала о себе одно твёрдо: где я кончаюсь. Той ночью я впервые этого не знала.

Глава третья. Сорок семь

Утром у меня было сорок семь комнат. К вечеру — тоже сорок семь. Между ними помещалась пятьдесят одна.

Я всё-таки назову теперь число, хоть и обещала не при-
выкать, — потому что в тот день число перестало быть мо-
им. Я умею себя считать. Это не гордость, это как дышать: я знаю, сколько во мне помещений, как человек знает, что у него две руки, не пересчитывая. И вот я сосчитала себя утром — сорок семь. Обыкновенно. Сосчитала вечером — сорок семь. Тоже обыкновенно. А между утром и вечером, когда я проходила себя посреди дня, вышло пятьдесят одна. Я прошла ещё раз — сорок девять. Ещё — сорок семь. Число не стояло на месте. Не потому, что комнаты появлялись и исчезали, — я бы услышала появление и исчезновение, у них есть свой звук. А потому, что некоторые места я то могла отделить одно от другого, то нет. Там, где утром была одна комната, днём оказывалось полторы, а к вечеру снова одна, и я не могла сказать, солгало ли утро или солгал день.

Дом, который не может себя сосчитать, — это не дом, у которого прибавилось комнат. Это дом, который перестаёт знать, где кончается одна и начинается другая.

Я попробую сказать, каково это, хоть у вас нет такого, с чем сравнить. Представьте, что вы считаете свои пальцы и всякий раз выходит по-разному: то десять, то одиннадцать,

то снова десять, — и не потому, что пальцы прибывают, а потому, что вы перестали быть уверены, где кончается один и начинается соседний. Вы не потеряли палец и не отрастили лишний. Вы потеряли границу между ними. Вот что было со мной. Комнаты не рождались и не умирали — я умею слышать рождение и смерть комнаты, у них свой звук, тихий треск нового «между» или мягкое оседание старого. Ничего этого не было. Просто в иных местах я не могла сказать, одна тут комната или полторы, и от этого моё число плыло, и я, всю жизнь знавшая себя наизусть, впервые считала себя и не сходилась.

К вечеру я разобрала, из чего лишнее. Это были не мои комнаты. Это были куски чужих. Не целые — куски. Кусок чужого коридора, который вклинивался в мой между двумя дверями. Чужая прихожая, притулившаяся к моей стене изнутри. Часть детской — та самая, с одним бережным местом. Чужая дверь, которая вела не в моё следующее помещение, а в чьё-то нынешнее. Эти куски не стояли отдельно, как гости в углу. Они входили в мои ходы, встраивались в мои переходы, и оттого я, проходя себя, всякий раз спотыкалась: вот мой коридор — а вот в нём чужие четыре шага, которых я не клала.

И тогда я перестала понимать свои маршруты. Это для меня страшнее всего, страшнее любого чужого звука. Маршрут — это то, чем я есть. Человек знает своё тело тем, что рука слушается и идёт туда, куда он её послал. Я

знаю себя тем, что мой ход ведёт туда, куда вёл вчера. А в тот день я послала себя от кухни к дальней горнице и пришла не туда. Пошла обратно, перестроила ход, послала снова — пришла в третье место. Я перестраивала один и тот же проход раз за разом, как человек, у которого дрожит рука, снова и снова тянется к одной кружке и всякий раз промахивается. Только это была не рука. Это была я вся.

Кот не дал мне перестраивать до бесконечности. Он прошёл по чужим кускам своим — по принадлежности — и сказал:

— Они все тянутся к одному. Смотри: этот коридор, эта прихожая, эта детская, эта дверь — все нити от них идут не в разные стороны, а сходятся. К одному человеческому узлу. К одним людям.

— Значит, туда, — сказала Яга. Она уже собиралась; она не любит долго думать над тем, куда ясно идти. — К этим людям. Ты сможешь подойти ближе?

Это она мне. Я могу подойти ближе. Люди зовут это моей ходьбой и рассказывают про ноги; ног я в себе не чувствую так, как они думают, — у меня есть опоры, но я не переставляю их, как человек переставляет ступни. Я делаю иначе: я передвигаю не себя к месту, а место к себе. Я меняю то, что лежит за моей наружной границей. Утром за ней был лес; я захотела, и к вечеру за моей стеной оказался не лес, а край того посёлка, куда сходились чужие нити. Люди, если бы смотрели, увидели бы, что дом стоит там, где вчера не

стоял. Я же просто поменяла снаружи.

Люди рассказывают про меня, что я хожу на ногах, и пугаются этого больше всего. Мне их страх непонятен, потому что хожу я не так, как они думают. Человек, чтобы дойти, переставляет ноги: он движется к месту, а место стоит. Я не двигаюсь к месту. Я меняю место у своей границы. Утром за моей наружной стеной был лес — я знала лес по тому, как он держит холод и как в него уходит звук, не отражаясь. Я захотела быть у посёлка — и к вечеру за той же стеной был уже не лес, а край посёлка: другой холод, другой звук, дорога, что упирается в мой порог. Опоры мои при этом что-то делают, я знаю, — но я не чувствую их так, как человек чувствует шаг. Для меня это не «я пошла», а «снаружи стало другим». Мир перекладывается вокруг моей границы, а не я иду сквозь мир. Люди зовут это ногами и придумывают им птичий вид. Пусть. Мне всё равно, на что они похожи. Это просто то, чем моё место перестаёт быть привязано к одной точке земли.

Пока за моей стеной лес сменялся посёлком, я думала о том, до чего чуждо мне то, к чему я иду. Всю жизнь ко мне несли беду готовой: вот утопленник, вот неузнанная, вот спорный, — беда приходила отдельным телом, отдельным случаем, который можно положить у стены и держать. А эта беда не имела тела. Её нельзя было внести и положить. Она была не в человеке, а в отношении между местами — в том, что одно место оказалось там, где ему не быть, у ме-

ня внутри вместо чужого дома. Я шла к беде, которую нельзя ни увидеть, ни потрогать, ни отделить, потому что она и есть неотделённость, спутанность, нахлёт. И оттого мне было тревожнее обычного. Знакомую беду я умею — приняла, подержала, вернула. А как быть с бедой, которая не предмет, а связь? Как держать то, у чего нет отдельного места, потому что вся его суть в том, что оно не на своём месте? Я везла своих к посёлку и впервые не знала даже, с чего они начнут, потому что не было того одного, на что можно указать: вот оно, разбирайте. Разбирать предстояло не вещь, а самую ткань между вещами.

Я несла своих у своей границы, Ягу и Кота внутри, Пса и Ворона при краю, — и слушала, как они молчат. Мы давно научились молчать вместе. Прежде, когда я была моложе и глупее, мне казалось, что дело делается словами и приказами: Яга велит, мы исполняем. Теперь я знала, что дело делается иначе — тем, что каждый слушает своё и не лезет в чужое, и что молчание четверых, каждый над своим, стоит больше любого приказа. Мы шли к беде, которой ещё не понимали, и каждый нёс наготове свою часть непонимания, чтобы там, на месте, сложить их в понимание общее. Это тоже было плодом прежних дел — то, что мы теперь работали не сверху вниз, от Яги к нам, а вместе, вкруговую. Я застала оба порядка и знала, какой лучше.

Мы пришли к дому, где жили эти люди. Не мой дом — человеческий, обыкновенный, из тех, что стоят рядами и не

двигаются. Внутри него была квартира. В ней жили муж, жена и совсем маленький ребёнок; я знала их по тому, как они занимали своё жильё, — так занимают недавно, ещё не обжив: половина вещей в углах, не расставленные по местам, коробки у стены, кровать взрослых и отдельно, у другой стены, маленькое бережное место, детское.

Кот вошёл своим и проверил.

— Квартира — их, — сказал он. — Честно их. Не куплена криво, не чужая, не при ком-то. Муж, жена, ребёнок — сами по себе, каждый свой. Связь семьи с этим жильём правильная, я нигде не спотыкаюсь.

Всё было чисто. По Коту — ничьё не присвоено, всё на своих. По Жабе, которую мы позвали после, — тела обычные, ребёнок обычный, живой, ничего чужого. Обыкновенная молодая семья в обыкновенной новой квартире, ещё пахнущей краской и коробками.

И всё-таки я стояла рядом с этой квартирой и слышала: та часть чужого внутреннего, что засела во мне, — вот она. Здесь. Детское бережное место в этой квартире и детское бережное место у меня в комнате, которой я не строила, — это было одно и то же место. Одно. Не два похожих. Оно было и там, у них, при их ребёнке, где ему и положено быть, — и одновременно во мне, за моей стеной, где ему быть незачем.

Квартира была не моя. Кот сказал твёрдо: не моя, не при мне, не продолжение меня. Семья — не моя, каждый свой. И всё же кусок их дома лежал внутри меня, а я не понимала,

каким переходом он туда попал и где та дверь, через которую его можно было бы вернуть.

По дороге назад, уже отойдя от посёлка, я всё возвращалась своим внутренним к тому детскому месту — тому, что было и у них, и во мне. Я пробовала его так и эдак, как пробуют больной зуб языком. И одно нащупала, чего прежде не понимала про себя. Все чужие куски, что во мне засели, были не всякие подряд. Они были из тех дней и мест, где кого-то держали в беде: убежища, приюты, углы, куда сносят потерявших дом. Не всякое чужое липло ко мне — а именно такое, временное, сделанное под нужду и не закрытое как следует. Будто я узнавала родное: вот место, где приняли того, кому некуда, — моё ремесло, моя порода. И тянулась к нему, и вбирала, потому что за век только это и умела — принимать бесприютное и не отдавать. Тут была не случайность. Тут была я сама, моя же природа, обёрнутая против меня: то, чем я всегда была добра, стало тем, чем я заболела. Я поняла это на дороге и не обрадовалась пониманию. Оно значило, что беда не снаружи, не в чужих домах, что липнут ко мне. Беда во мне. Я сама тяну к себе всякое бесприютное «между» и не умею сказать ему «довольно».

Их жильё было при них. А место их ребёнка было и при нём, и во мне. Я держала часть чужого нынешнего дома и не знала, за что.

Глава четвёртая. Детская

К людям пошли Яга и Кот. Я осталась стоять краем у посёлка, за рядом обычных домов, и слушала квартиру изнутри, как слушаю всё, что оказывается близко к моей границе, — но в человеческий дом я не входила, у меня к нему не было хода. Пёс лёг у подъезда, снаружи. Жабу позвали позже.

Дверь открыла жена. Молодая, лет под тридцать, с тем усталым, но не сломленным лицом, какое бывает у людей, которые недавно всё потеряли и уже начали заново, — я не вижу лиц, но это слышно по тому, как человек стоит в дверях: она не спряталась за дверь и не распахнула её настежь, она встала между, придерживая, пока не поймёт, зачем пришли. Её звали Алина. Мужа — Максим; он вышел из комнаты в прихожую и встал за женой, настороженно, но без вражды, как встают, когда в дом приходят чужие, а в доме маленький ребёнок. Он не спросил грубо, только: «Вы к нам?» — и по голосу было слышно, что он готов и впустить, и не впустить, смотря по тому, что ответят.

Яга умеет говорить с такими. Она не пугает и не сулит. Сказала, что они по делу, странному, но недолгому, и что вреда от них не будет. Алина посмотрела на неё, на Кота у её ног — Кот шёл с ней, кот при старухе никого не удивляет — и впустила.

Я слушала квартиру, пока они входили. Обыкновенное

жильё, недавно обжитое: коробки у стены, не все разобранные; шкаф, собранный наполовину, одна дверца ещё прислонена рядом; на кухне посуда, купленная разом, новая, не разномастная, как бывает у тех, кто нажил её годами, а вся сразу, потому что прежняя осталась под тем, что сошло с горы. И детская кроватка у стены в комнате — новая, с ещё не обмятым бортиком. В кроватке спала совсем маленькая, месяцев трёх или около, я не считаю месяцев, но детское место занимает пространство по возрасту, и это было место совсем малого. Её звали Лиза.

Я слушала, как они живут, пока Яга говорила о простом. По тому, как человек занимает жильё, я знаю о нём много, не видя лица. Максим ходил по квартире хозяйской, но осторожной поступью — так ходят там, где ещё не всё на своих местах, где ночью можно наткнуться на нерасставленное. Он то и дело подходил к недособранному шкафу и трогал прислонённую дверцу — не чинил, просто трогал, как трогают то, что давно собираешься доделать и всё не доходят руки; у него в руках всегда что-то оказывалось, гвоздь, отвёртка, — из тех людей, кому легче держать что-то, чем ничего. Алина держалась ближе к кроватке, и её вес всё время смещался туда, к дочери, даже когда она стояла в дверях с нами: тело её было натянуто в сторону ребёнка, как бывает у матерей совсем малых, — куда бы ни смотрела, слушает ту сторону, где спит. Они не были ни сломлены, ни напуганы. Они были заняты — тем трудным, будничным делом, каким люди от-

страивают жизнь заново после того, как прежнюю смыло.

Пёс поднялся из-под подъезда и подошёл ближе — к самой двери квартиры, не переступая. Он не входит в чужие людские дома, но узнать может и с порога. Он потянул носом — не воздух, глубже воздуха, то, чем узнаёт, кто перед ним. И сказал коротко, как он всегда:

— Ребёнок. Обыкновенный. Одна, сама по себе. Никого лишнего.

Ни паузы, ни сомнения. Я это отметила, потому что ждала другого. Я, глупая тогда ещё, ждала, что с ребёнком, чьё место засело во мне, будет что-то не так, — как бывало не так с теми, о ком потом рассказывали страшное. А Пёс сказал: обыкновенный. И это была правда, я слышала, что правда, — по тому, как ровно он это сказал, без той тяжести, что ложится на него, когда он узнаёт неладное.

Жаба пришла и приложилась — не к ребёнку прямо, детей она слушает бережно, издали, — к телу, к тому, живо ли и своим ли живёт. Отняла.

— Тело обычное, — сказала. — Живёт своим. Ничего чужого в ней нет, ничего наведённого. Здоровый ребёнок. Спит, ест, растёт.

Кот прошёл по квартире своим. Долго не ходил — тут не над чем было долго ходить.

— Квартира их, — сказал он. — Взяли честно, после того как их дом снесло. Не при школе, не при ком, не чужая. Их новый дом. И семья тут своя — муж, жена, дочь, каждый

сам, никто не при другом как имущество. Всё чисто. — Он помолчал. — Мне тут делать нечего. Здесь принадлежность правильная.

Всё сходилось на том, что делать нечего. Пёс: обычный ребёнок. Жаба: обычное тело. Кот: правильная квартира, правильная семья. По всем, кто умеет разбирать людей, здесь было чисто.

А я стояла краем у их дома и слышала своё.

Дверь детской комнаты — та, за которой в кровати спала Лиза, — относилась разом к двум местам. К их квартире, как ей и положено: за ней комната, кровать, окно во двор. И ко мне. Та же дверь была и моей стеной — не похожей на мою, а моей, той, за которой у меня засело детское бережное место. Одна дверь вела в две стороны, в два внутренних, и оба были настоящие. Для людей это, наверное, ничего не значило бы, они не слышат таких вещей. Но в тот миг, когда Максим прошёл мимо и на ходу приоткрыл дверь детской — глянуть на дочь, — за дверью, на один вздох, вместо тихой комнаты с кроваткой протянулось другое: длинный гулкий проход, каким бывает школьный коридор в пустой час, с эхом шагов, которых никто не делал. Максим не заметил; человек не замечает того, что длится один вздох. Он закрыл дверь, и коридор пропал, и снова была комната с кроваткой. Но я услышала. За их детской, сразу за дверью, начинался не двор, а чужой коридор. Не их. Не мой. Общий.

Мы посидели ещё. Яга не торопила, разговаривала о про-

стом, чтобы люди привыкли. Максим тем временем вернулся к шкафу — прислонённая дверца не давала ему покоя. Он приложил её, примерил петлю, отставил снова; не стал прикручивать при чужих, но всё потрогал, будто обещая себе доделать вечером. Я слушала его руки и думала — если это думанье, — что этот человек чинит, как чинят те, кому важно, чтобы вокруг было доделано. Ему тесно было среди коробок и незакрытого, он рвался всё поставить на место, и это была не суетливость, а тот здоровый голод по устроенному, что есть у людей, отстраивающих жизнь заново. Он собирал шкаф, а на самом деле собирал дом — по дверце, по полке, по гвоздю. И я, которая век только и делала, что имела комнаты, впервые смотрела, как человек комнату не имеет, а делает, — своими руками, из досок, из терпения, — и это было мне странно и понятно разом.

И Алина сама, между делом, рассказала то, что потом оказалось всем.

— Мы ведь после селя не сразу сюда, — сказала она. — Дом наш сразу снесло, в первую же ночь. Нас в школу свезли, был там пункт, недели на две. Я тогда на сносях ходила. Лизу там и родила — прямо в школе, дорогу-то размыло, до роддома не успели. — Она сказала это без надрыва, буднично, как рассказывают уже пережитое. — Так что она у нас, считай, школьная. В школе на свет вышла.

Яга кивнула, не подав виду. Кот не шевельнулся. Я тогда ещё не знала, что вот оно, всё дело, в этих трёх словах: ро-

дила там, в школе. Никто из нас в тот час не придал этому веса. Мало ли где рождаются дети, когда размыло дорогу.

А я, если по правде, и не слушала эти слова так, как надо было. Я в тот миг слушала другое — то, как отозвалось во мне детское место, когда Алина сказала «в школе на свет вышла». Оно дрогнуло. Не сдвинулось, не выросло — дрогнуло, как дрожит натянутое, когда тронут дальний конец. И я, вместо того чтобы понять, отчего дрогнуло, испугалась и заслонила привычной мыслью: мало ли. Так я делала всю жизнь с тем, чего не понимала в себе, — заслонялась привычным «мало ли» и держала дальше, не разбираясь. Это и есть моя старая повадка, из-за которой я и заболела: не спросить у непонятного, что оно, а просто вобрать его и приставить к прочему невыясненному. Вобрала и это. И только век спустя, разбирая себя, дошла до той дрожи и поняла, что она значила: место ребёнка отозвалось на слово «школа», потому что часть его и вправду была оттуда, из школы, из того угла, где он вышел на свет, — и эта часть так и не догадалась перебраться за ним в его новый дом.

Мы ушли. Люди остались жить свою жизнь — разбирать коробки, собирать вторую дверцу шкафа, растить дочь. У них всё было правильно, и это Кот подтвердил, и Пёс, и Жаба.

А я унесла с собой то, чего не мог подтвердить никто, кроме меня: что детская этого ребёнка, при всей её правильности, всё ещё каким-то образом была частью того школьного

пункта. Что дверь в её комнату вела и в её комнату, и в чужой пустой коридор. Что где-то стоит школа, из которой давно все ушли, — а её внутреннее по-прежнему тянется сюда, к детской кроватке, и ко мне, и не хочет кончаться.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.